

⁴⁶ Lowenberg P. The Psychohistorical Origins of the Nazi Youth Cohort // American Historical Review. 1971. Nr. 76. P. 1457–1502.

⁴⁷ Delumeau J. La peur en accident. P., 1978; *Idem*. Rassurer et protéger. P., 1989; Stearns P. N., Stearns C. Z. Emotionology // American Historical Review. 1986. Nr. 90. P. 813–836; Stearns C. Z., Stearns P. N. Anger. Chicago, 1986.; Zeldin T. France 1848–1945: 1–2 vol. Oxford, 1973–1977.

⁴⁸ Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice / Transl. R. Nice. Cambridge, 1977.

⁴⁹ Необычно детальный аргумент см.: Sider G. Culture and Class in Anthropology and History. Cambridge; P., 1986.

⁵⁰ См.: Gurevich A. Medieval Popular Culture / Transl. J. M. Bak, P. A. Hollingsworth. Cambridge, 1988.

⁵¹ Why Gender and History? // Gender and History. 1989. Vol. 1. P. 1–6.

⁵² См. об этом: Agulhon M. The Republic in the Village / Transl. J. Lloyd. Cambridge, 1982.

⁵³ Segalen M. Love and Power in the Peasant Family / Transl. S. Matthews. Cambridge, 1983; Smith O. The Politics of Language, 1791–1815. Oxford, 1984; Rituals of Royalty / Ed. by D. Cannadine, S. Price. Cambridge, 1987.

⁵⁴ Kammen M. Extending the Reach of American Cultural History // American Studies. 1984. Nr. 29. P. 19–42.

Дж. Каплан

Постмодернизм, постструктурализм, деконструкция: заметки для историков*

(Перевод А. Ю. Ануфриевой и Ю. В. Ракиной.

Общ. ред. и предисловие В. В. Высоковой)

Современное гуманитарное знание испытывает огромное влияние процессов глобализации. Оно становится все более сложным в силу интегративных процессов в различных сферах человеческой коммуникации. Последнее время происходит осознание того, что, наряду с позитивными сторонами, этот процесс имеет крайне негативные последствия – тенденции отторжения, непонимания и т. п. И поэтому, приветствуя взаимо-

* Перевод и публикация по изд.: Caplan J. Postmodernism, Poststructuralism and Deconstruction: Notes for Historians // Central European History. 1996. Vol. 22. Nr. 3/4.

обогащение и взаимопроникновение различных отраслей общественных наук, историкам сегодня важно сохранять и культивировать собственное научное и исследовательское поле. Последняя тенденция, очевидно, лежит в русле возврата к консервативным ценностям, смещения акцента к собственно дисциплинарным границам в противовес желанию работать на едином поле гуманитаристики. Именно в этом ключе и выдержана статья Джейн Каплан, видной исследовательницы феномена национал-социализма в фашистской Германии.

Джейн Каплан родилась близ Лондона и получила образование в Оксфорде. После получения степени Каплан стала ассистентом метра британской исторической науки Арнольда Тойнби (1889–1975), оказавшего влияние на ее профессиональное становление как историка, работающего на стыке проблем общественной психологии и морали, общей духовной культуры современного общества. Параллельно с этим несколько лет Дж. Каплан работала в области журналистики и издательского дела. Защита докторской диссертации в 1975 г. определила ее окончательный выбор в пользу академической среды. Во второй половине 70-х XX в. Дж. Каплан работала в Кембриджском университете, а в 1981 г. она уезжает в США, где успешно преподает и по сей день*.

Как замечает сама Каплан, главной темой ее исследований была и остается история нацистской Германии**. Кроме этого, ее всегда интересовали история женщины и история сексуальности. И в самое последнее время под редакцией Дж. Каплан вышли работы по истории индивидуальной идентичности. В 2000 г. был опубликован сборник эссе британских и американских историков о «культурной истории тела» – «Надписи на теле: татуировка в европейской и американской истории», где рассматривается социальная роль татуировки как знака идентичности от эпохи рабовладельческого строя до современной сексуальной революции***. В 2001 г. вместе с Дж. Торги она сумела объединить усилия историков, социологов, политологов, экономистов и специалистов в области международных отношений в исследовании «техник и механизмов» контроля за удостоверением личности официальных властей от периода становления бумажной бюрократии в Италии и Франции эпохи Ренессанса до прак-

* [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.brynmawr.edu>

** См.: Caplan J. Government Without Administration: State and Civil Service in Weimar and Nazi Germany. Oxford, 1988.

*** Written on the Body: The Tattoo in European and American History / Ed. by J. Caplan. L., 2000.

тики полицейских в позднее Новое время (паспорта, трудовые карточки, отпечатки пальцев и т. п.)^{*}.

Статья «Постмодернизм, постструктурализм, деконструкция: заметки для историков» была написана и опубликована в журнале «Европейское историческое обозрение» в 1996 г. В центре внимания автора три остромодных направления в гуманитаристике второй половины XX в. – постмодернизм, постструктурализм, деконструкция – течения, которые до сих пор для отечественных историков по большей части остаются предметом умолчания или даже своеобразным пугалом. «Заметки для историков» – подзаголовок статьи, что и определяет ее значимость. Справедливо замечая, что для историков последних десятилетий характерен уход от социологических моделей исторических исследований, Дж. Каплан показывает, что «история повседневности», «метаистория», микристория и другие направления имеют много общего с постмодернизмом, постструктурализмом, деконструкцией. Задача статьи – проанализировать общее и различия, возможное и неприемлемое между историей и этими общегуманитарными течениями.

В первой части статьи («Разукрупнения и определения») Дж. Каплан разбирает значения каждого из вынесенных в заглавие статьи терминов – постмодернизм, постструктурализм, деконструкция – в отдельности. Она выделяет три уровня значений понятия «постмодернизм» в современной исследовательской практике: это название эпохи позднего капитализма, которая характеризуется «специфической логикой производства культуры»; это постисторицизм в духе К. Поппера; наконец, это размытие четкой и влиятельной концепции истории, и в этом смысле это «бегство от самой истории». Постструктурализм от структурализма в интерпретации Дж. Каплан отличается «распылением» для исследователя центра закрытых знаковых систем, перенесением акцента со стабильности этих систем на их изменчивость и открытость. Деконструкция, казалось бы, самое близкое направление к источниковедческой практике историка – работа с текстом, интерпретация его значений. Дж. Каплан наглядно демонстрирует неисторичность подхода Ж. Дерриди, одного из самых ярких представителей этого направления.

Вторая часть («История, теория и политика») выводит рассматриваемые проблемы в плоскость их современной значимости с точки зрения не только развития научного знания, но и конкретной политической си-

* Documenting Individual Identity: The Development of State Practice in the Modern World / Ed. by J. Caplan, J. Torgrey. L., 2001.

туации. Здесь, с одной стороны, становятся очевидными уроки Тойнби, который видел главную функцию истории в диагностировании моральных и политических проблем современного общества. С другой стороны, эпоха постмодернизма действительно теснейшим образом связывает политику и историю, актуализируя, таким образом, проблемы теории исторического знания. Как показывает Дж. Каплан, в ряде работ постмодернистских теоретиков убедительно проанализирована логика конструирования политического и показаны механизмы манипуляции современным обществом. В этом же контексте Дж. Каплан поднимает проблему политической ангажированности выдающихся людей (знаковых фигур), имевших значительное влияние на свою эпоху.

Эту тему она развивает в третьей части статьи («Немецкая история») на примере Хайдеггера и де Мана, вокруг «сущностного фашизма» которых развернулась острая дискуссия в 80–90-х гг. XX в. Если о немецком философе-экзистенциалисте Мартине Хайдеггерे (1889–1976) отечественный читатель имеет представление, то в отношении Пола де Мана (1919–1983) следует дать биографический комментарий. Он родился в Бельгии (Антверпен), получил философское образование в Брюссельском университете. В 1947 г. уехал в США, где в 1960 г. в Гарварде защитил докторскую диссертацию по сравнительному литературоведению. П. де Ман стал одним из основателей теории деконструкции, оказал мощное влияние на целое поколение в литературе Соединенных Штатов. В 1987 г., уже после смерти де Мана из тени вышли некоторые обстоятельства его жизни. А именно то, что после захвата гитлеровцами Бельгии (1940–1942) он активно сотрудничал с рядом столичных газет, выпустив около 160 литературных обзоров и статей о культуре. Некоторые из участников острой дискуссии об «эстетической идеологии» конца 80–90 гг. XX в. обвиняли де Мана в коллаборационизме, ссылались на риторику антисемитизма в ряде его статей.

Третья часть статьи представляется наиболее ценной, так как здесь Дж. Каплан выступает как специалист по истории национал-социализма в Германии. Она демонстрирует возможности и пределы использования подходов и методов постмодернизма, постструктурализма, деконструкции в конкретно-историческом исследовании, показывает, что их использование современными историками в исследовании, например, геноцида привело к формированию двух полярных позиций. Дж. Каплан их называет «гиперреалистической» и «дереалистической». В рамках «дереализации» историки сосредоточились на страданиях конкретных людей – то, что автор называет «физическими реализмом». И в результате происходит мифологизация, например, такого явления, как холокост. Гиперреалист

объективно сопротивляется этой деисторизацией, сосредоточиваясь на текстах и толкованиях. Каплан полагает, что эти проблемы должны быть вынесены для обсуждения на широкой теоретической основе.

Статья Дж. Каплан носит безусловно полемичный характер. Она вовлекает нас в современные историографические и методологические споры европейской и американской исторической науки. Эта работа Дж. Каплан даёт анализ адаптации междисциплинарного подхода в современном гуманитарном знании. Она ясно демонстрирует определенное разочарование историков. Вместе с тем работы самой Каплан начала первого десятилетия XXI в. демонстрируют рецепцию междисциплинарности. Её работы о татуировке как знаке идентичности, о документационной фиксации властями человеческой идентичности сосредоточены на индивидуальном мире человека и выполнены несомненно в постмодернистском ключе. Сейчас Дж. Каплан работает над воспоминаниями евреек, находившихся в женском концентрационном лагере Моринген (Morningen) в 1936–1937 гг. Следует надеяться, что в самое ближайшее время мы сможем приветствовать появление новой работы Дж. Каплан.

Основная цель этого очерка – прояснить некоторые литературоведческие термины, используемые в современных историографических дебатах, и дать комментарий некоторым их возможным значениям для немецкой истории¹. <...> В общих чертах для современного этапа полемики по методологии истории и эпистемологии наиболее характерны относительное угасание споров о социологических моделях объяснения и сдвиг в сторону теорий, берущих начало в лингвистике и литературоведении. Как указал Квентин Скиннер², эта замена текста (который открыт для интерпретации) на природу (которая открыта для причинно-следственного объяснения) в качестве основной модели для понимания человеческого поведения/социальной деятельности также сопровождалась отказом или радикальным пересмотром поиска пути, с помощью которого познающий субъект может достичь «объективного» понимания объекта своего познания.

Смена парадигм по-новому ставит вопрос о соотношениях между интерпретацией и объяснением. Хабермас, следуя за Вебером, утверждал, что социология может и должна примирить эти два понятия так, чтобы стало возможно и объяснить причины, и интерпретировать значения человеческих поступков – двойная

программа, которая в большей или меньшей степени определила современную социологическую практику. Поскольку такая теоретизация области человеческого знания также была одним из оснований политик прогрессивного и научного гуманизма эпохи Просвещения – либеральной, демократической или марксистской, научные споры о современном статусе этой теоретизации высоко политизированы. Среди наиболее спорных вопросов в современных политических дискуссиях – вопрос о том, существует ли сейчас адекватное политическое оправдание трактовки таких исторически не согласующихся политических дисциплин, как локальные варианты всеобъемлющего философского проекта эмансипации, который сам находится в процессе распада. Эти дискуссии должны проводиться в соответствующем политическом контексте теоретизации и практики, если мы вообще хотим, чтобы она имела пользу в отношении политики. Только научные дискуссии не разрешат этой полемики, но они неизбежно оказываются втянутыми в нее.

В очерке Изабеллы Халл о феминизме в этом сборнике обсуждается проблемное поле наиболее оживленного из этих современных многообещающих споров. Феминизм, как указывает она, развил собственную критику коренных посылок просвещенческого проекта эмансипации, т. е. абстрактного универсализма, единичного субъекта и умозрительной социальной целостности, и эта критика имеет некоторые общие основания с идеями, которые я буду здесь рассматривать. Предвосхитили ли современные феминистские эпистемология и практика эти идеи, вопрос дискуссионный. Однако, без сомнения, они подняли равнозначные вопросы об адекватности в основе своей одномерных, хотя и изощренных систем объяснения для истолкования источников и политического значения таких категорий, как раса, пол, идеология и субъективность. В частности, затянувшееся, болезненное, необходимое, хотя и незавершенное столкновение между марксистской и феминистской практиками в последние двадцать лет обнаружило ограниченные способности марксизма – наиболее последовательного и влиятельного из теоретических проектов Просвещения – создавать соответственные понятия недавно возникшим вопросам, не говоря уже о том, чтобы дать удовлетворительные ответы на них.

Таким образом, новая политика истории уже развивалась в определенных кругах задолго до того, как недавний поток статей в «American Historical Review» и других изданиях зарегистрировал профессиональное признание новейшей из новых историй. Те, кто участвовал в этом, вероятно, встретили самые последние теоретические дебаты со смешанным чувством дежа-вю, волнения и опасения: дежа-вю, поскольку это не первая такая встреча за последние несколько лет; волнения, поскольку, безусловно, нет сомнений в том, что марксизм теперь находится в интеллектуальном и политическом тупике, однако феминизм испытывает огромные трудности с утверждением себя как стратегической политической практики; опасения, поскольку разъединение проекта объяснения/интерпретации чрезвычайно встревожило марксистских историков, которые рискуют уступить почву своей интеллектуальной и политической работы тому, что может оказаться просто более притягательным видом идеализма³.

Разукрупнения и определения

Избегая использовать единый собирательный термин, обозначающий предмет обсуждения этой статьи, я старалась не упредить первое положение, которое я хочу доказать: постмодернизм, постструктурализм и деконструкция – не взаимозаменяемые синонимы. Более того, особенность этих теорий, которые характеризуют себя как «пост» (постструктурализм, постфеминизм, постмарксизм и т. д.), состоит в том, что они не просто сопротивляются слову после дефиса, противопоставляют себя ему, отвергают его, они продукт процесса критического переосмысления его вialectическом смысле. Быть постструктуралистом означает не только сказать «нет» структурализму, но, в конечном счете, разработать и переработать положения структурализма (или марксизма, или феминизма) как средства обнаружения «белых пятен» или недостатков его теории. Принять эту позицию – также означает отказаться из принципиальных соображений от того, что в противном случае было бы нерушимой бинарной оппозицией между двумя терминами⁴.

Постмодернизм (здесь и далее выделено автором; разрядка наша. – *Пер.*), в отличие от двух других терминов, задействованных здесь, может пониматься не только как способ раскрепощенного мышления, но также как историческое описание, знак (однако лаконичный и недостаточный) эпохи. В сопряжении этих двух смыслов он кажется мне равнозначным такому термину, как Проповедование. Это двойное значение – как это выражено у Лиотара в первом предложении его монографии о постмодернизме: «Наша рабочая гипотеза состоит в том, что по мере вхождения общества в эпоху, называемую постиндустриальной, а культуры – в эпоху постмодернизма статус знания изменяется»⁵. Постмодернизм, таким образом, делает несколько отсылок: (a) на текущую эпоху позднего капитализма, характеризующуюся, по словам Джеймисона, «специфической логикой производства культуры»⁶; (b) на постисторицизм⁷, в смысле, который имел в виду Хейден Уайт, т. е. на интеллектуальный уход от философии истории XIX в.; и (c) на постисторию, т. е. бегство от самой истории⁸.

Хотя я не хочу втягиваться в процесс «раскладывания по полочкам», постмодернизм как определенная эпоха, по-видимому, имеет два основных варианта, которые стоит различать. Это вполне марксистско-структураллистский анализ Джеймисоном постмодернизма в рамках теоретизированной концепции истории (его прочтение «Позднего капитализма» Манделя) и постмодернистская оценка Лиотаром культуры, характеризуемой «недоверием к метанarrативу»⁹. <...>

Постистория, в конечном счете, поднимает широчайший круг культурных и политических вопросов, в обсуждение которых вклад эта статья, поскольку они ранее также задавались фашизму или фашизмом. В этом смысле самая характерная неприглядная особенность современной постмодернистской мысли, согласно ее критике, не только в том, что она представляет собой субъективное самоописание постисторической эпохи, но и в том, что она делает историю, а также прогресс, в специфическом и распространенном понимании его историей, невозможными. Цитируя Раймонда Уильямса: «Модернизм есть предел, все, что после него, считается вне развития». Другими критиками постмодернизм был

описан как «гедонистический уход от истории, культивизм двусмысленности или безответственный архаизм» и как «история наобум»¹⁰. Лутц Нитхаммер недавно охарактеризовал «постисторию» как «разочаровывающий эпилог философий истории XIX века»...¹¹. <...>

Постструктурализм – это теория или набор теорий и интеллектуальных практик, которые рождались в процессе со-зидательной переработки «предшественника», структурализма. Структурализм, как хорошо известно, возник как лингвистическая теория, резюмированная утверждением Соссюра, что «язык как целостная система является завершенным в каждый конкретный момент, вне зависимости от того, что было изменено в нем за момент до этого»¹². Другой центральный принцип лингвистики Соссюра – общезвестное положение о том, что значение в языке – продукт не отсылки к вещам внешним по отношению к нему, но системы различий, внутренне присущих языку как коду. Хотя эти два утверждения не относятся друг к другу как составные части целого, они служат для того, чтобы подчеркнуть произвольность любой знаковой системы и отделить ее от внешних отсылок к прошлому или к настоящему как гарантии ее значимости или истины. В процессе распространения структурализма на литературную критику (например, через русских формалистов, Мэчери или раннего Барта) и на область общественных и гуманитарных наук (Леви-Стросс, Альтюссер) было высказано дополнительное суждение о том, что не только язык, но и все культурные системы представляют собой скорее закодированные системы значений, нежели прямые взаимодействия с реальностью. Таким образом, структурализм постулирует закрытую систему значений, которая понятна компетентному читателю, и в этом смысле он сохраняет кантианский трансцендентальный субъект. Но при условии, что мы настаиваем на синхронии структурированных систем, и учитывая, что упор делается на тенденции скорее к пространственным, нежели хронологическим метафорам, не удивительно, что структурализм оказался неподходящим для практики историков¹³.

Постструктурализм вновь открыл вопрос диахронного в том смысле, что он отрицает фиксированные орбиты закрытых структурированных систем в пользу циклов меняющихся интерпрета-

ций и нестабильных значений. Постструктурализм, развиваемый поздним Бартом, Дерридой, Фуко и другими, отрицает стабильность, цельность и закрытость структурированных систем, бинарность, которая якобы поддерживает их, и утверждение, что суть системы постижима для наблюдателя или читателя, который занимает соответствующую выгодную позицию. Для постструктурализма нет ни фиксированных значений, ни привилегированных позиций, находясь на которых, можно узнать истину. Как выразился Деррида, раскрывая противоречие, которое он видит как имманентно присущее структуристской мысли, «на основе структурного описания в и д е н и я м и р а можно объяснить все, что угодно, кроме безграничного открывания истины, т. е. философии. Более того, именно что-то вроде откровения всегда будет срывать структуристский проект. Чего я никогда не пойму в системе, так это то, благодаря чему она не закрывается»¹⁴. <...>

Деконструкция, наконец, – одно из постструктурлистских течений, представленное столь разными современными мыслителями, как Барт, Фуко, Лакан, Бодрийяр или Кристева. Оно, возможно, наиболее эффективно приоткрывает и представляет затруднения, которые испытывает структурализм перед лицом своих собственных заявлений. Деконструкция – это метод чтения, который не только демонстрирует ограничения или противоречия любого конкретного выбора концептуальных оппозиций или приоритетов в тексте, но также показывает, как попытки текста поддержать эту систему подрывают принципы его собственного бытования. Иными словами, деконструкция – это одновременно критика категорий, предлагаемых текстом, и обнаружение непризанных вызовов, бросаемых текстом своим собственным посылкам. Модель этого – деконструкция Дерридой приоритета речи над письмом, что предположил еще Соссюр в своем «Курсе общей лингвистики». В этой критике, параллельно с деконструкцией текстов Руссо о языке, Деррида показывает, как текст подавляет то, что противоречит его доводам, в то же время оставляя возможность (внимательному) читателю проследить за тем, что подавляется.

Теория Дерриды о выработке значения через *différance* (неологизм, который соединяет в себе и различие, и отсрочку как про-

тивопоставление тождественности и наличия) также акцентирует внимание на игре наличия и отсутствия в языковой практике. Соответствующие теории значений подразумевают, что за пределами языка существует нечто, чье отсутствие создается посредством языка; они заявляют, что, так сказать, мысль могла бы достичь непосредственности по отношению к самой себе (что Деррида называет *propre*, или самотождественность, первоначальное состояние полноты и наличия), что было бы самоподтверждением, если бы только язык не вмешивался как ненадежный посредник. Критика Дерридой суждений Руссо о речи и письме – попытка разоблачить это заявление как иллюзию. <...> Пользующееся сейчас дурной славой заявление Дерриды, что «за пределами текста ничего нет», могло бы, я думаю, быть прочитано как заявление о том, что акт самопредательства текста также является саморазоблачением и что чтение является в этом смысле скорее частью текста, чем созданием чего-то навязанного ему извне. В деконструкции, таким образом, Деррида доводит суждения постструктурализма до точки, когда они обнаруживают свою собственную нелогичность, и он использует авторитет *différance*, чтобы деконструировать миф присутствия. Собственные произведения Дерриды, конечно, продемонстрируют их слепоту и противоречивость хотя бы потому, что они дают возможность другим для выявления этого...¹⁵.

Три термина, следовательно, действительно имеют отношение друг к другу, в том смысле, что деконструкция может рассматриваться как одна из разновидностей постструктуралистской мысли и что постструктурализм – один из возможных компонентов постмодернизма. Таким образом, деконструкция была описана как «временный полустанок на пути ухода от марксизма»¹⁶, но это не единственный такой полустанок (временный или нет), и марксизм не является единственной теорией, из которой ищут выхода: феминизм, как уже было сказано, имеет с постструктурализмом гораздо больше общего, чем несколько черт. В прошлом феминисты вступали в спор и со структуралистской, и с марксистской теорией, и в интеллектуальном отношении неизбежно и, по моему мнению, ценно то, что некоторые феминисты сейчас делают то же самое с постструктурализмом¹⁷.

История, теория и политика

Проведя эти разграничения, я хочу предположить, что в то время как деконструкция может предложить самое большее чуткий метод чтения для историков, а постмодернизм, по меньшей мере, – удобную периодизацию, то постструктурализм обладает потенциальной теоретической энергией, которая оправдывает внимание к его положениям.

В политике и научных дебатах первый вопрос к теории или прочтению задается не о том, правильна ли она, а о том, ставит ли она полезные вопросы теории и практики. Это кажется мне основной, но часто забываемой посылкой, которая необходима, если только не думать, что мы имеем дело с уже открытой или достаточной истиной (в случае чего эти вопросы практически никогда не возникают). Советовать скорее «полезное» взамен «правильного» не избавляет нас, разумеется, от проблемы обоснованных критериев… Практическая цель для научного сообщества – получение нового знания; для политики это была бы выработка новой практической критики и критической практики – возможно, политики скорее критического сопротивления, чем цели, так как политика цели в конченом счете характеризуется претензией на привилегированное знание.

Постмодернистские теоретики, такие как Лиотар, Лакло и Муфф (и, совсем иным образом, Джеймисон), подчеркнули, что дискурс постмодернизма сам по себе есть продукт истории. Так, Лакло и Муфф заявляют, что «именно потому, что нет более твердых оснований, проистекающих из трансцендентального порядка, потому, что более нет центра, который связывает вместе власть, закон и знание, становится необходимым соотнести определенные политические пространства через господствующие артикуляции [в противовес тотализирующей системе]… Каждая попытка наложить окончательный шов и отвергнуть совершенно открытый характер социального, который формируется логикой демократии, ведет к тому, что Лефорт определяет как «тоталитарианизм»; т. е. к логике конструирования политического, которая определяется неким отправным пунктом, из которого общество может быть превосходно управляемо и познаваемо»¹⁸. Конечно,

это имеет значение как утверждение не только о том, что не существует больше в еры в подобные основания и центры, но потому что они больше не существуют в любом том смысле, в каком они существовали раньше. <...>

В любом случае эта позиция контрастирует с позицией Дерриды и де Мана, поскольку то, осознает ли деконструкция достаточно собственную историчность как метод, безусловно находится под вопросом. Более того, хотя предмет исследования Дерриды – западная философия начиная с Платона, его критика ничего не говорит о том, что есть исторически особенного в каждой конкретной точке ее развития, он просто понимает ее как целое. Таким образом, хотя метод деконструкции может быть взят историком для интерпретации отдельных текстов, деконструкция как эпистемология практически несовместима с занятием историка. Однако несомненно есть что-то достойное восхищения в том, как Деррида постоянно бросает вызов тенденции нового терять свою остроту по мере того, как оно становится приспособленным и освоенным знанием. <...>

Однако среди историков остается основная тревога, вызванная деконструкцией, а именно: делая текст в конечном счете неразрешимым, она уничтожает основания для предпочтения какой-либо одной интерпретации и потому делает невозможным написание общепринятой истории. <...> Мы, историки, достаточно хорошо принимали то, что язык, структура и стиль источников не прозрачны, но мы более сдержаны в применении тех же лингвистических представлений в отношении нас самих: я думаю, не просто из чистой профессиональной щепетильности, но потому, что это смешает границу между историком и объектом ее (истории. – *Пер.*) знания. Как указал Хейден Уайт, история нарратива – это не теория истории как таковая (даже если проблематизировать «содержание формы», как делает он, избежать этой связи не так-то просто, как он [Уайт] хочет). Доводы Уайта о нарративной стратегии истории находят параллель в постструктурлистских предположениях о соотношении литературы и критики. Барт, Деррида и де Ман стирают условную границу, возведенную между литературой и литературной критикой на основании того, что обе они в равной степени

являются примерами письма или текста, и, таким образом, поддаются одному и тому же типу риторического и смыслового анализа. Уайт применяет это понимание к историческому нарративу с результатом (если еще не намерением) такого же смазывания границы между «документом» и «историческим нарративом». В обоих этих примерах ни текст (согласно одной теории), ни трактовка (согласно другой) не имеют преимуществ в смысле обладания авторитетом или правом, чтобы сохранять «свой» смысл от интерпретации...

В заключение можно сказать, что один способ оценки этих споров – рассматривать их как соперничество между группами дисциплин, чьи внутренняя связь и взаимные границы принимаются как должные. Другой способ – предположить, что содержание, границы и взаимоотношения между дисциплинами – это конвенциональные продукты определенных повторяющихся профессиональных научных практик, и понимать, что, хотя теоретические споры в основном и, возможно, неизбежно обнаруживают себя в пределах дисциплинарных границ, в действительности они преодолевают их и лучше всего могут быть рассмотрены за их пределами, как это уже случилось в позиционировании философии и теории. Соперничество областей наук в этом смысле – это не постоянная борьба за превосходство, а тот самый процесс, с помощью которого создается новое (другое) знание. Однако сегодня условия культурного и научного продуцирования порождают соперничество между повторением и пересмотром, в котором культура пересмотра наложена на культуру повторения; рынок, на котором, как и при любом другом обмене, одна имеет больше власти, чем другая, определять «выбор». Даже если эта ситуация часто является запутывающей и иногда деспотической, я не думаю, что есть удовлетворительный ответ на то, что интеллектуальный пересмотр – это просто очередной виток моды, или прибегать к другим условным заявлениям, драпирующимся как вечные истины, которые представлены дисциплинарными, моральными или политическими терминами. Тем не менее не безразлично, какой язык выбирать для использования в своих политических и исторических практиках: использовать язык постструктурализма значит вос-

производить и до определенной степени усиливать его претензии на пригодность на данный момент.

Немецкая история

Эти проблемы ставят огромное количество общих вопросов практике истории или историзму как таковому, но есть определенные следствия, которые будут иметь для историков Германии специфическое значение в том смысле, что они нам позволят поставить определенные вопросы или сделают тщетными попытки ответить с точки зрения истории на некоторые другие. Можно также спросить, какие вопросы предрешены такими теоретическими положениями и, кроме того, какие вызовы современной теории представляет изучение немецкой истории. Я ограничиваю здесь мои наблюдения примером национал-социализма, сознавая, что нацизм стал во многих отношениях открытым полем споров или конкретным примером проверки сложных проблем исторической практики.

Самые главные из вопросов, поднимаемых этим взаимоотношением, – это проблемы рациональности и релятивизма. Говоря прямо, что можно сказать о национал-социализме как идеологии или политическом движении и режиме с помощью теорий, которые, по-видимому, относятся скептически к рациональности как способу объяснения, которые сопротивляются претензиям на истинность, делают относительной и расширяют понятие «власть», не могут четко определить ответственность и не могут отдать предпочтение (одной) истине или морали перед (множеством) интерпретацией? Следующая особая и сильная обеспокоенность историков заключается в том, что корни деконструкции, по-видимому, лежат в том же повороте к иррациональному, из которого, как считается, выросла фашистская идеология. <...>

Также есть опасение, что национал-социализм будет низведен под безответственным взглядом писателя вроде Бодрийара до уровня еще одного шоу в ряду коммерчески выгодных спектаклей – опасение, что в конце концов концентрационный лагерь больше не будет рассматриваться как катастрофа человечества, а просто

как ритуал или игра¹⁹. В эпоху, когда так много других политических символов отделено от их овеществленного значения всесключающей силой рынка и распространено в качестве предметов потребления, что иное, кроме как сила доминирующей исторической морали, предотвратит возрождения свастики, букв СС или даже татуировки Освенцима в качестве модного украшения? И является ли сведение их значения на нет более или менее предосудительным, чем их вытеснение или прославление? Хотя немногие историки в наши дни стали бы заявлять, что их задача – главным образом извлечь нравственные уроки из прошлого, чувство долга довлеет над прошлым, когда этот моральный груз легче брали на себя и несли не с таким трудом. Подвергать сомнению возможность исторической истины означает здесь ставить под сомнение мораль, и существует риск впасть в апологетику²⁰. С другой стороны, доказуемо, что нравственная истина и историческая аутентичность – отдельные вопросы, здесь можно вспомнить аргумент де Серто, что историография отделяет себя от вымысла не тем, что она претендует на правду, а тем, что разоблачает и обесценивает то, что очевидно ложно²¹. Можно также указать, что подвергать сомнению основы морали – не то же самое, что отрицать ценность всеобщих соглашений о нормах общественного и индивидуального поведения.

Эти важные вопросы не будут разрешены в коротком эссе, и поднять их, вероятно, не более чем повторить очевидное. Но с позиции обсуждаемой здесь практической историографии необходима критическая оценка затянувшегося нежелания более серьезно воспринимать фашистскую идеологию как предмет изучения. Традиционный подход истории идей к ней был, безусловно, крайне неубедительным для поколения историков, воспитанного социальной историей, но новая интеллектуальная история предлагает альтернативный аналитический подход, который достоин применения к текстам, и с его помощью можно анализировать практики фашизма. До тех пор, пока это не сделано, я не считаю, что есть какие-либо основания для безапелляционных утверждений о существенном фашизме де Мана или Хайдеггера как философов, независимо от того, чтобы можно было бы справедливо сказать об их личном

поведении. Любопытно, что во всех опубликованных бесконечных спорах об этих людях сохранялось практически полное умолчание о позициях обоих в отношении действующих посылок и текстов фашистской или нацистской идеологии: как если бы это было ясно, уже очевидно и в то же время не очень важно; как если бы один акт перечитывания был бы достаточен для доказательства точки зрения в пользу или против обвиняемых. Сильный дисбаланс между напряженным, даже навязчивым, перечитыванием Хайдеггера и де Мана, с одной стороны, и игнорированием их предполагаемого идеологического *confrères* (сотоварищество, братство. – *Пер.*), с другой, несомненно заслуживает того, чтобы обратить на него внимание – не только чтобы установить равновесие между двумя сторонами спора, но также чтобы исследовать, почему практически все участники дискуссии уверенно сохранили молчание по этому поводу. Текстовый проект такого рода проверил бы ценность постструктуралистского чтения, особенно если бы он смог деконструировать соотношение рационального и иррационального на примере одного ставшего клише утверждения об их различии.

Мое второе замечание вытекает из этого. Иррациональность и насилие часто объявляются синонимами, так что отступление от рациональности является приближением к насилию, заменой политики принуждения политикой увещевания или даже нравственным конфликтом. Это нигде не провозглашается более ясно, чем в случае с фашизмом, архитипическим кулаком, нанесшим удар в лицо гуманистической рациональности эпохи Просвещения. Однако упрощенное сопряжение фашизма и иррациональности никогда не исключало более глубокого анализа сложной взаимосвязи между Просвещением, рациональностью и современностью, с одной стороны, и фашизмом, особенно нацистским расизмом, с другой. В широком смысле, нужно только вспомнить о Лукаче, Адорно и Хоркхаймере, Арендт, в то время как сегодня те же проблемы затрагивает Детлев Пойкерт с его понятием «патологического современного» в немецкой истории и поднимает Зигмунд Бауман при переосмыслинии нацистского геноцида²².

Следующим шагом было бы исследование того, как даже эти критические анализы зависят от репрессивной и интеллектуально ограниченной бинарной оппозиции рационального/иррационального и заново утверждают ее. Эссе Руди Кошара предлагает вниманию другой пример критики пары модернизм/антимодернизм и аналогичным образом вычлененных бинарных оппозиций, составляющих наше [проблемное] поле, в большинстве своем связанных с такими центральными противопоставлениями, как фашистский/коммунистический, сотрудничество/сопротивление, миф/наука, эстетизация/политизация, реакционный/прогрессивный. Утешительное родство между позитивными ценностями в этих парах стоит того, чтобы его подвергнуть сомнению, так чтобы связи могли быть рассмотрены отдельно и исторический процесс их низвержения открылся для критического анализа.

Мне кажется в конечном счете, что историческое изучение нацистского геноцида в настоящее время оказалось втянутым в дуалистическую метафизику такого рода – в борьбу между тем, что может быть названо гиперреализмом, с одной стороны, и предельной дереализацией, с другой. В конкретной схватке между жизнью и смертью в нацистских программах по уничтожению человека отдельная личность стала фигурировать как конечный объект, на который ссылаются и которым проверяется человеческое существование в реальных условиях. «Холокост» углубляет физический реализм через представление предельного и предельно ужасного соотношения между индивидуальным человеком и массами людей – безгранично страдающими, конкретными людьми. Тогда невыполнимой для историка становится задача выстроить значимое соотношение между предельным и беспредельным на основе опыта как оценки истины. Дереалистическая позиция – та, которая мифологизирует холокост, сам по себе термин указывает на это – посредством превращения его в сверхисторическое событие, реальное значение которого, вероятно, может быть понято в полном смысле теми, кто якобы принимал в нем участие. Гиперреалист стремится сопротивляться этой деисторизации посредством фиксации объяснений геноцида в текстовых источниках и толкованиях, которые [объяснения] настолько точны и устойчи-

вы, насколько это возможно (например, работа Ганса Моммзена или Кристофера Браунинга). Хотя это практики с сильно различающимися посылками, но то, что они имеют общего, так это желание зафиксировать события прошлого на основе интерпретации и причинно-следственных связей соответственно. В этом смысле обе они – часть совместного проекта закрытия, который должен быть открыт для пересмотра.

Нельзя отрицать ни серьезную дилемму историка перед лицом этих вопросов теории и истории, ни факт, что те из нас, кто претендует на то, чтобы высказываться по этим темам, не вовлечены в языковые игры, а пытаются решать проблемы, которые в настоящее время имеют наибольшую культурную и политическую значимость. Одно дело – принимать постструктурализм и постмодернизм, распространять власть²³, децентрировать субъекты и в целом позволять полемизировать сотне значений, когда предмет обсуждения – Холодный дом (название романа Ч. Диккенса. – *Пер.*), или филология, или даже археология знания. Но должны ли быть иными правила спора, когда этот вопрос не просто Истории, но – недавней истории жизни, смерти и страдания, и понятие справедливости, которое стремится вывести некое значимое соотношение между ними? На это у меня нет ответа, и я не думаю, что какая-либо из обсуждаемых здесь теорий уже дала на это ответы, и, возможно, они также не способны сделать это по существу без более длительных попыток практической политической критики. Но есть тем не менее вещи, которые уже могут быть изучены. Если метафора – это все, что у нас есть, то нам следует быть крайне сознательными в нашем выборе языков. Если существуют различные контексты и традиции продуцирования знания, то мы должны сохранить повышенную бдительность относительно контекста наших высказываний. Если знание всегда является частичным и предварительным и никогда – полным и окончательным, то мы должны быть начеку, когда наши мыслительные схемы застывают в виде интеллектуально и политически ограниченных догм. И нам, возможно, придется проявить желание отказаться от того, что мы уже знаем, – вероятно, особенно от некоторых вещей, которые, как нам думается, мы знаем или должны знать с величайшей определен-

ностью, чтобы перестроить структуру соотношения между локальным и стратегическим знанием как в политике, так и в истории.

¹ Этот очерк первоначально замышлялся как статья, представляемая на обсуждение, и сохраняет этот характер. Я благодарна членам Комиссии по изучению истории женщин в Германии (German Women's History Study Group) и Мэри Пуви, а также участникам Чикагской конференции за их критические комментарии.

² Skinner Q. [Introd.] // The Return of Grand Theory in the Human Sciences. Cambridge, 1985.

³ См. марксистскую критику современных исторических тенденций: Palmer B. D. Descent into Discourse: the Reification of Language and the Writing of Social History. Philadelphia, 1989.

⁴ См. анализ терминов «современный», «антисовременный», «просовременный» и «постсовременный», сделанный Ф. Джеймисоном: Jameson F. The Politics of Theory: Ideological Positions in the Postmodernism Debate // New German Critique. 1984. Nr. 33. P. 53–65. См. критический взгляд: Habermas J. Modernity versus Postmodernity // New German Critique. 1981. Nr. 22. P. 3–14; и более подробно: *Idem. Der philosophische diskurs der Moderne: Zwölf Vorlesungen*. Frankfurt, 1986.

⁵ Lyotard J.-F. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis, 1984. P. 3.

⁶ Jameson F. Marxism and Postmodernism // New Left Review. 1989. Nr. 176. P. 33. См. также его работы: Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism // Ibid. 1984. Nr. 146; *Idem. The Politics of Theory // The Ideologies of Theory. Essays, 1971–1986. Vol. 2. The Syntax of History*. L., 1988.

⁷ Термин «историцизм» сам имел запутанную историю, частично из-за противоречия внутри него между тотальным эмпирицизмом и философски всеобъемлющим позитивизмом. Возникающий как термин для немецкого академического требования девятнадцатого столетия обеспечить объективность оценки событий прошлого («wie es eigentlich gewesen» Ранке), он получил более метафизический оттенок в более поздний период девятнадцатого века, когда получили распространение релятивистские теории сознания и познания. (см.: Iggers G. G. The German Conception of History. Middletown; Conn, 1986). В 1940-е гг. Карл Поппер утвердил слово как уничтожительную категорию для определения всех теорий, претендующих на «научное» знание законов Истории, включая марксизм как главного обвиняемого. В последнее время литературные «новые историцисты» торжественно включили термин в свою претензию на то, чтобы вернуть исследования текстов к материальным и культурным условиям их создания и распространения.

⁸ См. также более многочисленные определения, предложенные Томасом Паттерсоном в работе: Patterson T. Post-structuralism, Post-modernism: Implications for Historians // Social History. 1989. Nr. 1. P. 83–88, а также содержащиеся в ней ссылки.

⁹ Lyotard J.-F. The Postmodern Condition. P. 24. Что касается обсуждения развития мысли Лиотара, см.: Dews. Logics of disintegration, особенно Chap. 4.

¹⁰ Williams R. When was Modernism? // *New Left Review*. 1989. Nr. 175. P. 51; Eagleton T. *Literary Theory*. Minneapolis, 1983. P. 150; Anderson P. In the Tracks of Historical Materialism. L., 1983. P. 48. Cp. также новую позицию «конца идеологии», занятую Френсисом Фукуямой: Fukuyama F. Judging Post-History. The Theory of End of All Theories // *New York Times*. 1989. 27 Aug. P. 5.

¹¹ См.: Niethammer L. *Afterthoughts on Posthistoire* // *History and Memory*. 1989. Pt. 1, nr. 1. P. 27–53. Я благодарна Маркусу Винеру за эту ссылку. Комментарии Дерриды о ценности «понятия субъекта» процитированы в кн.: Jay M. *Marxism and Totality*. California, 1986. P. 536.

¹² Пересказано Фредериком Джеймисоном: Jameson F. *The Prison-House of Language*. Princeton, 1973. P. 6.

¹³ Действительно, если любой недавний интеллектуальный конфликт заслуживает быть названным Historikerstreit, им, конечно, была яркая полемика внутри структуралистского марксизма в 1970-е гг. Доводы, приведенные здесь, получили не такой стремительный отклик в американских или немецких научных кругах, как среди маленькой, но влиятельной группы британских историков и интеллектуалов, главные среди которых Эдвард Томпсон, Ричард Джонсон, Перри Андерсон, Пол Херст и Бэрри Хиндесс. Однако это столкновение было симптомом нового вида конфликта между теоретиками и практиками, который с тех пор стал крайне характерен для споров как внутри феминизма, так и внутри левых. Потерпело ли начинание структуралистов крах из-за своих собственных недостатков или же было подавлено грозной акцией профессиональной защиты порядка, безусловно, вопрос спорный. Во всяком случае, несомненно то, что теоретическая работа Альтюссера, Пулантзаса и остальных не оставила долговечного наследия истории как дисциплине и что немногие историки видели смысл сделать что-то большее, чем выбросить его из головы, не читая. (За исключением: Poulantzas D. A. The Collapse of the Weimar Republic. N. Y., 1986; см. также: Kershaw I. The Nazi State: An Exceptional State? // *New Left Review*. 1989. Nr. 176. P. 47–56.)

¹⁴ Derrida J. «Genesis and Structure» and Phenomenology // Derrida J. *Writing and Difference*. Chicago, 1978. P. 160.

¹⁵ См. один из таких критических отзывов: Man P. de. *The Rhetoric of Blindness: Jacques Derrida's Reading of Rousseau*, но также его заявление, что «кажется, очень мало значит, прав или неправ Деррида в отношении Руссо» (P. 137). Интересно, что жест авто-ниспровержения Дерриды (и де Мена), который используется в риторике сложности и удвоения, – то, что, кажется, приводит в ярость их критиков: но, что приводит их в уныние – непонятность или ниспровержение? Или, возможно, тот факт, что посредством само-kritiki критик предвосхищает и присваивает себе поле действия самой критики?

¹⁶ Fraser N. The French Derrideans: Politicizing Deconstruction or Deconstructing the Political? // *New German Critique*. 1984. Nr. 33. P. 143.

¹⁷ См. дискуссию и ссылки в ст.: Hull I. Femenist and Gender History Through the Literary Looking Glass: German Historiography in Postmodern Times // *Central European History*. 1996. Vol. 22, nr. 3/4. P. 279–300.

¹⁸ Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy: towards a radical democratic politics. L., 1987. P. 187; см. также: Mouffe Ch. Radical Democracy: Modern

or Postmodern? // *Universal Abandon? The Politics of Postmodernism* / Ed. A. Ross. Minneapolis, 1988. P. 31–45. О деконструкции Альтюссера см. также: *Hirst P. Marxism and Historical Writing*. L., 1985.

¹⁹ Cp.: *Friedländer S. Reflections of Nazism: An Essay on Kitsch an Death*. N. Y., 1986; а также классическое противопоставление Вальтером Бенджамином политизации эстетики и эстетизации политики.

²⁰ Это – бремя структур Чарльза Майера в противовес постструктуральной истории: *Maier Ch. The Unmasterable Past: History, Holocaust, and German National Identity*. Cambridge; Mass., 1988. P. 168.

²¹ *Certeau M. de. Heterologies: Discourse on the Other*. Minneapolis, 1986. P. 200–203.

²² *Peukert D. The Genesis of the Final solution from the spirit of science // Reevaluating the Third Reich* / Ed. T. Childers, J. Caplan. N. Y.; а также: *Baumann Z. Modernity and the Holocaust*. Ithaca, 1989. Понятие «патологическая современность» перечеркивает часть поля, охарактеризованного более старым термином «культурный пессимизм». Дискуссия о «рационализирующей» интерпретации американского рабовладения, инициированная Робертом Фоуджелом, также имеет отношение к делу.

²³ Как предложил Роберт Геллэти в своей последней работе по операциям гестапо см.: *Gellately R. The Gestapo and German Society: Political Denunciation in the Gestapo Case Files // Journal of Modern History*. 1988. Nr. 60. P. 654–694; и более подробно: *Idem. The Gestapo and German Society: Enforcing Racial Policy, 1935–1945*. N. Y., 1990.

K. Шарль

Создавать и распространять идеи: секреты университетского признания*

(Перевод с фр. В. А. Бабинцева)

Каким образом интеллектуалы добиваются признания себе подобных и публичной известности? От времен парижских кружков XIX в. до нынешней институциональной и медийной сети условия производства и распространения идей усложнились.

* Перевод и публикация по изд.: *L'histoire aujourd'hui*. P., 1999. P. 21–30.
Шарль К. – профессор современной истории университета Париж-1. Опубликовал, в частности: *La République des universitaires (1870–1940)*. P., 1994 и *Paris fin de siècle, culture et politique*. P., 1998.